

Василий Дмитриевич Фёдоров

ЧЕЛОВЕК ИЗ ПОРТРЕТА

(из книги «Сны поэта»)

Мне долго было смешно, когда говорили о раздвоении личности. «Как это, – думал я, – при одной голове, при одном сердце и, можно сказать, при одной душе личность вдруг раздваивается?» Я привык сознать себя единым, действовать от себя единого, видеть себя единым. Первый удар моему единству и цельности нанёс один курьёзный случай...

Однажды ночью я размашисто шёл по Красному проспекту освещённого Новосибирска. Освещение было такое, что моя тень всё время шла впереди меня и была вроде бы моим путеводителем. И вот на перекрестке, меж двух фонарей, моя единая тень резко раздвоилась, и уже две тени метнулись от меня в разные стороны. От неожиданности я чуть не упал. Остановился и долго простоял в середине её странного излома...

Мне пришло в голову повторить этот момент, вернуться и подойти к этому месту уже тихим шагом. Вот тень ещё едина... Но вот начала набухать её голова... Вот превратилась в два полушария... Вот между ними вошёл светлый клинышек... И вот стало две головы, пока ещё на одних плечах, но вот раздвинулись и они... Светлый клинышек стал лезвием колуна, который раскалывал мою тень, как раскалывает длинное кедровое полено, и оно разваливается от одного взмаха, а лезвие колуна доходит до самой земли. Всё было так, не было только треска.

Долго ещё этот случай оставался в моей жизни просто казусом, просто световым эффектом, а не символизацией каких-то закономерностей жизни. Но, случилось, он вспомнился мне при разборке своих фотографий разных лет. В памяти воскрес не первый резкий раскол тени, а его второй вариант – тихий. Даты различных снимков недалеко отстояли друг от друга, так что не было резкости переходов. Память подходила к ним как бы малыми шажками.

А что такое портреты вообще?

Это ряд неизбежных расколов. Чем твои портреты дальше от тебя по времени, чем отдалённее друг от друга, тем расколы в тебе резче. В конце концов, я постиг, что они – дробление человека, мельчание его сущности. Портреты тебе говорят: ты был таким-то, а в действительности ты уже давно не такой. Одно желание вернуться к чему-то, что было в тебе, – уже проявление твоей слабости. Только мы всего этого не замечаем, пока подспудно не станет явным столкновение.

Твои портреты – это печальный ряд междоусобиц, из которых ты никогда не выходишь победителем. Уже первый вздох при встрече со своим прошлым говорит о твоём поражении. Что бы там ни было, всё против тебя: вспомнишь хорошее – затоскуешь, вспомнишь недоброе – покроешься краской стыда. Даже если тебе не за что краснеть, всё равно уже сам процесс узнавания себя сопряжён со многими сложностями, о чём меня и надомил мой собственный портрет, написанный ещё в молодости.

В ту пору, кажется, – ещё совсем недавнюю, я заживал в областное отделение Новосибирского союза писателей, что ютилось тогда на углу Советской улицы и Октябрьского переулка. Там же, где-то по соседству, были художники и, представьте себе, гортоп – по тем временам учреждение солидное, занимавшее три-четыре комнаты. И вот, когда я, молодой и начинающий, приходил к писателям, мне встречались невесты кто – не то художники, не то гортоповцы.

После войны все ходили в том, что бог послал. На мне, например, были совершенно разбитые сапоги, потёртое пальто, суженное в плечах, и косматая шапка рыжей собачины. Шапка покрывала всё. Видевший себя в зеркало, я был спокоен за свой общий облик, пока у дверей писательского закутка не встретил высокую белокурую женщину с голубыми глазами. По тем временам она выглядела элегантно. Из-под горностаевой шапочки выбивались белокурые локоны и падали на пышный мех чернобурки. Её голубые глаза взглянули на меня с любопытством.

«Должно быть, взяточница из гортопа!» – подумал я и проскочил мимо. Вскоре «взяточница» обернулась художницей, искавшей объект для воплощения своего нелёгкого замысла. Выбор её почему-то пал на меня.

– Я ищу новый тип интеллигента, – говорила она потом, когда нас познакомили, – мне кажется, что...

– Что вы его нашли? – продолжил я.

– Представьте, да! – ответила она весело и, отклонив головку набочок, оценивающе осмотрела моё лицо.

Мне понравилась её лёгкая, доверительная болтовня, сразу же снявшая все неловкости первого знакомства. «Если даже она ничего не умеет, – подумалось мне, – для неё это не грех». Сохраняя прежний тон, я развёл руками, как бы распахиваясь и определяя этим жестом новое поле обозрения.

– Не дискредитирует ли всё это новый тип интеллигента?

– Всё это мы оставим сапожникам и портным!

Туманная фраза, возможно, намекала на сапожника, который в своих суждениях о картине решил подняться выше сапог, а может быть, её фраза получилась сама собой. Тогда меня занимал другой вопрос – каким она представляет новый тип интеллигента, если выбрала для него меня, начинающего поэта и заводского мастера? Но задавать такой вопрос прямо, несмотря на лёгкость атмосферы нашего первого разговора, я всё же не решился, а попробовал подойти к нему от противоположного:

– Чем же вам не нравится старый тип интеллигента?

– Совсем старый?

– Что значит «совсем»? – переспросил я. – Разве есть такая градация? Если есть «совсем старый» – значит, есть «просто старый», а уже потом и «новый»...

– А так оно и есть! – подтвердила она почему-то обрадованно.

Мы шли по направлению к художественным мастерским, где у неё была своя рабочая площадка, что само по себе уже говорило о её настоящей принадлежности к цеху художников. Она не собиралась приступать к работе, ей только хотелось показать нужный дом, чтобы я потом не тратил времени в его поисках. Наш разговор, принявший философскую окраску, часто нас останавливал, особенно на тех местах, когда нужно было что-то сформулировать, что давалось ей с трудом.

– Совсем старый тип интеллигента – это... это потомственные, это те, у которых и прадедушки и прабабушки уже были интеллигентами. Независимо от своих личных качеств они по наследству восприняли, что принадлежат к особой категории людей – грамотных, воспитанных, честных и прочее, не замечая, что эти качества в них уже ослаблены. Выделяются только претензии, скепсис, рефлекторность и подслеповатость. Они, как правило, все ходят в очках и поправляют их заученным жестом...

– Ничего себе картинка!..

– А что, вы не согласны?

– Вы слишком категоричны, – возразил я. – Тип Клим Самгина появился ещё до революции. Согласен, он – типичное порождение русской интеллигенции, но ведь дореволюционной.

– Вы думаете, что у него нет сегодня своих наследников? – насмешливо спросила она. – В каждом из них сидит свой маленький Клим Самгин, только ослабленный временем и обстановкой. Возникнет подходящая обстановка, и он зацветёт всеми цветами подлости, но никогда не признается в ней, а прикроет её личиной долга или бдительности.

По всему было видно, что в ней говорит что-то личное, слишком пристрастное, говорит, конечно, не обо всей интеллигенции, но особенный нажим на одну отрицательную черту, порождаемую этой категорией людей, приводил как бы к всеобщности их греха. Возможно, художница нарочито заостряла свою программу в работе над образом интеллигента нового типа. В тот момент это меня интересовало куда больше, чем исторические изыскания в области русского интеллекта.

«Работа покажет», – подумал я и, чтобы не обострять нашего первого разговора, решил внести свой примирительный аванс в разработку темы.

– Всякий открыватель и деятель, будь он потомком трижды старого типа или просто старого, всегда интеллигент в первом поколении.

– Это почему же?!

– Потому, видимо, что открытия делают не по привычке, а в отрешении от них. Открытие одинаково ново для всех.

– О-о! – весело воскликнула она. – Я не ошиблась в выборе! – и тут же перешла к теме, далёкой от только что законченного разговора, – о весне, которую она хотела бы изобразить, но не может, о цветах, которые она могла бы нарисовать, но не хочет.

Из деликатности я не называю имени художницы. В этом не её вина, а моя роль рассказчика, взявшегося описывать всё, как было. И хотя она признала во мне интеллигента нового типа, всё же сомневаюсь, что в то время вполне соответствовал этому высокому званию. Боюсь неосторожным словом оскорбить её память или обидеть близких родственников. Забегая в своих оценках её несколько вперёд, скажу, что она была милой женщиной, что позволит мне потом называть её и милой художницей. Но – всё по порядку.

Через день я пришёл в её мастерскую, а вернее – в закуток, отгороженный сухой штукатуркой на втором этаже краеведческого музея. В нём, этом закутке, не было никакого интеллектуального камуфляжа. Стоял какой-то перевёрнутый ящик вместо стола и два стула, на одном из которых я и должен был представлять «нового типа». Хозяйка мастерской встретила меня с радостным оживлением:

– Не обманули! Для начала уже хорошо.

Без верхней одежды она была ещё привлекательней: высокая, почти вровень со мной, так что, когда здоровались – посмотрели в глаза. В солнечном проёме окна её пышные волосы отливали золотым сиянием, а глаза – небом в окне: и волосы, и цвет глаз, и статная фигура скрадывали её возраст. Во всяком случае, передо мной была уже не та женщина, что третьего дня так сурово судила старую русскую интеллигенцию. Притом она оказалась по-женски деловита, но без лишней хлопотливости, бесцеремонна – без оскорбительности. Мой пиджак она забраковала сразу – велела снять и повесить на спинку стула; потом подошла, одёрнула на плечах рубашку и поправила галстук.

– Ничего, к белой рубашке пойдёт.

Я был не женат и подумал: «А наверно, хорошо, когда о тебе вот так хлопчут из дня в день». Мысль забежала и выскочила, вытесненная другими. В свете прошлого разговора меня интересовал уже сам процесс конструирования моей особы как нового типа.

Изображать меня стоящим – отдумала: были бы слишком на виду брюки, и милая художница пообещала пригасить мою послевоенную бедность. Поза сидящего тоже была найдена не сразу.

– Смотрите прямо. Так. Повыше!

Она отходила к окну, высвечиваясь, и снова подходила ко мне.

– Брови у вас тёмные – это хорошо. Будут контрастировать с выгоревшим чубом. – И она снова принялась примерять меня к стулу, а руки к ногам. – Правой рукой обопритесь о колено. Так, так. Решительней!.. А вот что будет делать левая рука?..

– Она будет курить!..

– Попробуйте!..

Таким я и увидел себя в первом карандашном наброске – отчаянно решительный и устремлённый поверх всех барьеров. Правая рука жёсткой кривулиной, наподобие клешни, опиралась ладонью о правое колено. Между прочим, о моих руках она сказала, что они у меня, как у самого старого интеллигента, но утешила тем, что для такой категории людей, к каким отношусь я, главное не руки, а голова. Всё же пальцы рук выписала подробно.

– Это оболочка, а содержание дадут краски! – подвела итог своей работы над моим портретом с будущей любопытной судьбой.

В первые наши встречи художница работала увлечённо, не предъявляя мне никаких претензий, наоборот, старалась развлечь меня непритязательной болтовнёй о чём угодно – о весне, о любви, о живописи, о стихах. Собою моя собеседница, видимо, тоже была довольна. Об этом я судил по тому, как она замолкала, как накладывала невидимые мне мазки и, довольно улыбнувшись, возвращалась к прежней болтовне. Мысленно я её тоже рисовал, но по-своему. С каждой встречей палитра моих красок обогащалась, и образ её становился для меня всё интересней. Уж не знаю, что виной – художественные ли упражнения моей фантазии или что другое, только выражение моего лица стало меняться. Однажды она пожаловалась:

– Вот не думала, что вы такой!..

– Какой – такой?..

– Рефлекторный!..

– Я?! Рефлекторный?

– Именно! – засмеялась она. – Вчера было одно лицо и выражение глаз, а сегодня совсем другое!

– И что же мне с этим выражением делать?

– Выработайте какой-то общий знаменатель!

В качестве общего знаменателя ей пришло на ум выбрать для разговора поэзию, видимо полагая, что разговор о ней будет приводить меня к более устойчивому настроению. Может, так бы и оказалось, выбери она верный объект – ну, скажем, Пушкина или Лермонтова, способных вызвать во мне устойчивый энтузиазм. Тогда бы она и запечатлела меня на холсте, как ей надо. Но художница решила польстить мне знанием моих стихов...

А на висках

Две жилки бьются,

Две жилки бьются...

Любовь кричит,

Как поступить:

Переступить или вернуться?

Переступить или вернуться?

И решено – переступить!

Кажется, я слегка «переступил», и это стало причиной того, что портрет остался недописанным.

В то время я не осознавал всех последствий нашего невольного интимного полусближения и не подозревал, как оно может отразиться на моём портрете. Она продолжала его писать, даже напускать на себя прежнюю лёгкость, будто между нами ничего особенного не случилось, но интеллигент нового типа на полотне явно перестал продвигаться к совершенству. Нет, всё же появились новые оттенки складок на рубашке, на брюках, уточнился разлом и цвет выгоревшего чуба, но цвет лица и рук оставался недописанным. Кажалось, работая над портретом, художница нетерпеливо ждала момента, когда можно было объявить «перекур».

Между тем близилось время, когда я должен был уехать в Литературный институт, где с заочного отделения меня перевели на очное. Начались хлопоты по отъезду – оформление документов, подготовка к возможным экзаменам и разные другие мелочи. В мастерскую милой художницы я забегал всё реже и реже. О законченном портрете нечего было и думать. Когда я пришёл к ней в последний раз, прощаясь со мной, она с жаром пообещала:

– Не беспокойтесь, портрет я допишу по памяти...

– Не подведёте?

– Нет, – засмушалась она. – Я всё помню...

В Москве у меня появилось столько новых и неожиданных забот, что они надолго отодвинули в сторону всё остальные. Переход из заводского цеха в соблазнительный цех поэзии оказался не пустой формальностью. Если в заводском цехе я был мастером, то в новом получил лишь звание студента. Компенсация предполагалась в будущем, а в то время я утешал себя декларацией, громко заявлявшей, что я своё прежнее звание сумею стихами вернуть. К тому же моя декларация, судя по всему, была далёкой от воплощения. Московская жизнь складывалась трудно, но об этом я никому не писал – хвастать было нечем, а жаловаться не хотелось. Словом, от интеллигента нового типа, придуманного художницей, во мне ничего не осталось. Вот таким растерявшимся я и приехал на летние каникулы в родной город.

Наша встреча была печальной.

В мастерской я увидел как бы совсем иную женщину – болезненно усталую, встретившую меня тихой улыбкой. Её волосы, когда-то пышные, теперь приняли будничные границы, а глаза изменили цвету неба. Под стать нашему настроению потускнело и высокое музейное окно. На дворе было пасмурно, на душе – неуютно. Она первая вспомнила о портрете, словно спохватилась:

– Посмотрите, какой вы были молодой и озорной – она вынесла из угла знакомый портрет, натянутый на подрамник.

Портрет мало чем изменился. Вторая часть её характеристики продолжала оставаться за портретом. На меня, вернее, чуть мимо, смотрел всё тот же молодой человек, правда, с лицом, всё же подправленным по цвету, и глазами, ставшими ещё более пристальными. Перемен в руках я не нашёл совсем, тогда как брюки немного подновились. Однажды портрет выставлялся,

но, видимо, успеха автору не принёс, иначе бы она не преминула сообщить мне об этом. В этой мысли я утвердился ещё и потому, что она предложила мне взять его на память.

– Да куда же я с ним?! – удивился я. – Живу в общежитии...

– Не обязательно вывешивать, – настаивала она.

– Я сверну его в рулон, и пусть до поры тихо лежит...

Тогда я не понял её настойчивости.

Сначала рулон у меня хранился в углу общежития, за кроватью, потом я перенёс его в кладовку сестры-хозяйки, где, забытый мною, он и лежал. Я вспомнил о нём, когда моей художницы не стало. Она умерла от болезни, исход которой ей, возможно, был уже известен или подозревался. С грустью я разыскал портрет, чтобы сохранить его как память. К тому времени у меня был в разгаре роман с моей будущей женой. К ней-то вскоре я и отнёс не только портрет, но и всё свое хозяйство – чемодан и папку со стихами. Студентка нашего же курса, она была обладательницей семиметровой комнаты, стены которой могли принять только фотографии, так что заветный рулон пришлось снова упрятать – на этот раз в старой тахте среди сезонной одежды. Там, по крайней мере, его никто не трогал.

Более четверти века он пролежал в таком положении. За это время наши жилищные дела улучшились, но так незначительно, что «интеллигент нового типа» не мог получить прописки для настенной жизни. Только в последний раз, когда мы перебирались в новую квартиру с относительно просторной комнатой, я вспомнил о портрете и извлёк его из-под кровати-дивана, но к этому времени с него уже стали осыпаться краски. К счастью, им заинтересовался однажды бывший у меня Семён Иванович Шуртаков, мой друг ещё с институтских времён. Обладая универсальными качествами писателя, в том числе и любопытством, он заметно стал отличаться ещё двумя – любовью к поэзии и букинистическим книгам, в обоих случаях исповедуя одну истину: не всё плохо, что старо. Пока я доставал рулон, на худющем лице моего друга было выражение активного нейтралитета, после которого можно легко переходить и к «да» и к «нет». По мере того как я его разворачивал, лицо Семёна Ивановича начало определяться в положительном смысле.

– Отличный портрет! – объявил он. – Сразу всё видно.

– Что видно?

– Характер есть.

Семён Иванович подробнейшим образом объяснил мне достоинства работы безвестной художницы. Ничего не зная о её высоких замыслах, он между тем был очень близок к толкованию образа самой художницей. Была оправдана и рука, костылём упершаяся в колено.

– Портреты и картины становятся ещё интереснее, когда знаешь, при каких обстоятельствах они написаны, – сказал он между прочим.

Не берусь передать прямой речью всего разговора, вернее, побаиваюсь. Зная о пристрастии Семёна Ивановича к тонкостям стиля, опасаясь исказить его речь какой-нибудь лишней запятой или восклицательным знаком. Словом, портрет ему понравился, и он посчитал преступлением не только перед памятью художницы, но и перед потомками, держать его под диваном.

– Давай условимся, – продолжал он уже деловито, – ты его далеко не закладывай. У меня на лестничной площадке живёт хороший реставратор. Я договорюсь с ним и сообщу тебе, как и что...

Месяца через два на стене нашей большой комнаты появился мой многострадальный портрет в приличной раме. В семье сразу что-то прибавилось, и притом заметно. Семья – это не только люди, это сообщество родственных людей и вещей. Портрет же – больше чем вещь, особенно если он ваш; настолько больше, что становится молчаливым свидетелем вашей жизни, если хотите – её ревнителем, а коли так, на него уже надо реагировать. Кроме того, для семейной гармонии нужно, чтобы он был принят всеми. На этот счёт у моего портрета было всё в порядке, но ревнитель из него получился слишком ревностный. Впрочем, об этом я ещё расскажу.

Быть ревностным ему, кроме Семёна Ивановича, помогли и другие мои друзья. Каждый в меру своей любви баловал молодого человека на сибирской холстине. Некоторые явно перебарщивали. Однажды у нас в гостях были поэты – ныне уже покойный Владимир Туркин и разумно здравствующий Михаил Годенко. В своих рассуждениях, сами того не подозревая, они ещё больше заострили мою мысль о душевных раздорах между копиями человека и самим человеком. Надо сказать, Володя Туркин, ростом и фигурой с Маяковского, отличался прямоотой суждений, но, боюсь, воздерживался от резкостей, чтобы не выглядеть подражателем своего великого тезки. В нём чаще всего проглядывала доброта большой, умной собаки, наблюдающей за игрой щенят. Он стоял с потеплевшим лицом почти вровень с верхней кромкой рамы.

– Какая прелесть! – сказал он. – Само откровение!

– В смысле?

– В смысле характера, а может быть, и честолюбивых замыслов!

– Какие там замыслы!

– Приглядеться, здесь в его лице всё уже есть – и «Проданная Венера» и «Седьмое небо».

– И моя седина?

– Вася, не спорь! – вмешался Михаил Годенко, в проявлениях чувств более экспансивный и непререкаемый. Балтийский матрос в прошлом, он размахивал указательным пальцем, как пистолетом, приводя в исполнение свои же приговоры и чеканя почти что стихами:

– Здесь про тебя всё есть!

– Преимущество молодости – ещё не резон! – возразил я, но Михаила Годенко поддержал Туркин.

– Нет, свидетельство молодости тоже что-то значит. А что, если ты сегодня – всего лишь искушённый исполнитель жизненной, ну, скажем, и творческой программы вот этого молодого человека? А мне, Васенька, не всё равно, кто тебя запрограммировал и когда!..

– Во! – поднял палец Годенко. – Запрограммировал!

Заканчивали дискуссию уже за столом.

Здесь в неё вступила моя жена, до того хлопотавшая над обеспечением именно этой части нашего разговора. Когда он достаточно повеселел, она обратила внимание гостей на другую стену своей комнаты, где было вывешено всё, что можно было повесить в причудливой мозаике, – чеканка моего начинающего племянника, приглянувшаяся чеканка из ларьков и магазинов, пейзажи с любительских выставок писателей, плоские русалки, вырезанные из дерева, красочный герб Севильи с рыцарским шлемом и мечами, привезённый из туристической поездки в Испанию. Сюда же была вмонтирована репродукция с портрета Блока, а ниже, на достаточно объективной дистанции, фотография с моего портрета работы Павла Судакова. На него-то больше всего и хотела обратить внимание друзей моя собирательница сокровищ.

– А по-моему, этот портрет лучше!

– Лара, это прекрасно! – воскликнул подобревший Годенко. – Не в том соль! Паша Судаков – художник замечательный, но не он встретил Васю неразгаданного. Пойдите! Пойдите!.. Дайте сформулировать...

– Ты, Миша, пока подумай над формулой, – сказал Туркин, – а я вот что скажу, ребята... У Судакова Вася уже солидный, можно сказать, важный, – видите, как руку с сигаретой поднял, нет, важный не игрой, а серьёзностью и знанием цены...

– Так я же, Володя, о том и говорю, – снова вмешался Годенко в запальчивости, – у Паши Судакова Вася – результативно-банальный...

– Так, так, значит – банальный?

– Вася, не перебивай!.. Результативно-банальный, потому что тебя здесь можно измерить такими эпитетами, как известный, талантливый и прочее, а того трудно измерить... Сибиряк обещает москвичам больше, чем сделано.

– Значит ли это, что неизмеряемая величина в искусстве всегда кажется больше измеренной? – спросил я и невольно перевёл разговор в иную плоскость, где мои портреты уже не играли никакой роли, при этом на память пришли строчки Есенина:

Люблю я поэтов. Забавный народ.

Да, люблю я застольные разговоры товарищей по перу, почти всегда скачущие, почти всегда озарённые гипотезами и догадками, почти всегда тут же забываемые ради догадок и гипотез. Собственно, это не разговоры, а болтовня о всякой всячине, как думают они сами о таких разговорах, но если прислушаться со стороны, в их скачущей болтовне можно услышать что-то значительное, напоминающее отдельные наброски, вроде пушкинских на полях рукописи, или что-то вроде эскизов на замызганном картоне художника. После моего вопроса начали вспоминать художников и писателей минувших времён, где они измерены и где остались неизмеряемы, сравнили реалистов и романтиков, конечно, не обошли и Достоевского в постижимом «Подростке» и непостижных «Братьях Карамазовых» с их космическими проекциями в нравственность.

Не буду, однако, входить в подробности наших новых застольных изысканий, поскольку они к сибирскому портрету отношения не имеют. Михаил Годенко вернулся к нему, уже прощаясь со мной и Ларой. Ещё решительней взмахивая своим указующим пистолетом, он говорил с железным нажимом и директивной расстановкой:

– Вася!.. Ты должен каждый день являться к этому своему молодому портрету и докладывать, что тобой сделано за двадцать четыре часа суток. Да и рамочку ему надо бы, Вася, дать получше...

– Будет выполнено!

– То-то!

Так шутливо мы закончили смотрины моего сибирского портрета, заново начавшего свою публичную жизнь. Какое-то время это меня занимало, и я действительно, заходя в большую комнату, останавливался перед портретом и говаривал: «Ну, молодой человек, сегодня я поработал на славу» или: «А знаешь, друг, поэмка у меня что-то не выплясывается».

Случалось так, что выплясывалась сама жить, и тогда я забывал о портрете, о молодом человеке, требовательно смотрящем из рамы. В один из таких периодов, когда я заснул тревожным сном неудачника, ко мне пришёл этот молодой человек из портрета.

В литературе и кино с портретами уже бывали всякие фокусы. У одних портреты начинали смотреть осмысленным взглядом живого человека, у других они вели разговоры, не выходя, однако, из рамки холста, мой же двинулся дальше – он вылез из рамы портрета в том виде, в каком я позировал художнице, пришёл в мою комнату и присел на кровать. Кажется, он же и толкнул меня в бок со словами:

– Подвинься...

Спросонок я огрызнулся, ещё не видя своего заполночного гостя, а когда увидел, почему-то нисколько не удивился, как будто людям из портретов можно свободно расхаживать там, где им захочется.

Он сидел ещё более суровый и решительный, чем на портрете, глядевший теперь прямо на меня из-под тёмных, строго очерченных бровей, отчего мне была отчётливо видна полоска на брюках, ниже которой уже не было краски, подновлявшей их вид. Скосив взгляд, я увидел старые ботинки, смазанные вазелином и зашнурованные надвязанным шнурком. Узелок подвязки оказался слишком на виду. «Неужели я так и приходил к ней? – подумал я почти в сердцах. – Что это он демонстрирует передо мной своё пролетарское происхождение? Никак что-то затеял!» И тревожное чувство ожидания охватило меня.

Оказывается, ожидание неизвестного во сне ещё тягостнее, чем наяву. Нормальное мгновение жизни становится чудовищной вечностью сна. Ну что мне мог сказать человек из портрета? Но мнилось, что во сне он угрожает уже одним своим появлением. Во сне сумасшествие всегда где-то рядом. Может быть, сон – это одна из форм сумасшествия, когда человек блуждает по запретным дорогам нормальных, как лунатики по карнизам высоких крыш? Меня всегда занимала роковая грань, переступив через которую люди лишаются возможности возврата к прежнему состоянию – к ясности взгляда и разума. Вполне оформившийся сумасшедший меня не интересует, поскольку он – уже по «ту сторону». Чтобы понять его, надо идти за ним, а это бесплодно, ибо «там» кончается аналитик – вместо одного сумасшедшего появляются уже два. Только и всего.

– Не дрожи! – сказал человек из портрета.

– Разве я дрожу?

– Почему ты перестал подходить ко мне?

– Зачем?.. Это не обязательно. Ты ведь всего лишь портрет.

– Думать о смерти и бессмертии всегда обязательно.

– Ещё рано...

– Нет, Василий, пора – стареешь!

– С чего ты это взял?

– Из твоей заботы о портретиках...

– Какой заботы? Ты валялся в диванах не из-за моей молодости, а по моей молодой бедности.

– Мне-то всё равно, а тебе, вижу, уходить не хочется, а ещё больше осознавать, что ты уйдёшь, а я останусь вместо тебя. Так что ты со мной в прятки не играй, не закрывай глаза на неизбежное...

На губах «портретного» человека появилась горьковатая усмешка, не замечавшаяся мной прежде. К тому же он затеял разговор, которого я в жизни старался избегать и часто от него отшучивался. Что ж, теперь с этим юнцом, жившим вдвое меньше меня, можно и поговорить начистоту.

– Слишком большая ясность в делах смерти равнозначна цинизму, – изрёк я, уязвлённый, хотя сам никогда не ощущал свою жизнь как нечто

испокон данное. – Почти всю жизнь я подозревал – слышишь? – только подозревал случайность и временность своего земного существования. Вот почему я был терпелив. Я мог доводить своё терпение до крайности, до полного испытания судьбы!

– Да, но ты не был аскетом!

– Не был и не собирался им быть. У меня не было слишком большого греха для аскетического воздержания, как не было и пресыщения жизнью.

Мне показалось, что я ошеломил своего собеседника, но догадывался, что он явился ко мне не за тем, чтобы соглашаться с моей поздней мудростью. На мою резонёрскую тираду он ответил своей:

– Для законодателя грех нарушения закона увеличивается вдвое.

– На что ты намекаешь?

– На то, почему я остался недописанным...

– Молчи, жена услышит!

– Ты тогда её не знал.

– Всё равно молчи! – понизил я голос, – У меня есть внуки, а им кажется, что я знал их бабушку с детства.

Лицо молодого человека смягчилось, он даже улыбнулся.

– Спасибо, хоть юмор остался.

Заметив перемену в его настроении, я решил вернуться к теме, которая, как мне показалось, озадачила моего собеседника. Мне требовалось, чтобы он отказался от навязчивой мысли о своей недоделанности и моей вины в этом.

– Да, я был готов ко всем испытаниям, – заговорил я, – и не избегал их, зато всякий раз благодарил судьбу за те радости, которые она мне посылала. Ты не всё знаешь о себе, потому что художница не всё знала обо мне. Она не знала, что в детстве я почти не верил в смерть, видел, что такая загадка есть, но не верил. Мне казалось, будь во мне живой одна-единственная клетка, она оживит все остальные, если те уснут. Такая вера облегчала мне жизнь в труднейшие минуты, заставляла мой разум смотреть на всё трезво и смело. Кстати, теперь смотрю ещё трезвей, но уже не так смело. Нет, не трушу, просто знаю, что одна живая клетка бессильна, когда отпульсируют остальные...

На лице портретного человека появилось высокомерное, презрительное выражение. Он отвернулся, как на портрете, и стал смотреть куда-то в сторону.

– Мне твоя исповедь не нужна!

– Но ведь ты хочешь остаться после меня?

– Не я хочу. Время захочет. – Тогда не пойму, чего тебе надо?.. Тебя вытащили из хлама, подчистили и подновили – с портретами это можно! – Живи и здравствуй!

– Каков подвиг! – с притворным восторгом воскликнул он. – Посмотри, каким ты меня оставишь после себя!.. Посмотри на моё лицо, посмотри на мои руки! – и сложил свои красные руки в позу, какая была на холсте. – Учти, что после тебя я уже целиком буду тобой. Тебе-то «там» будет всё равно, а мне жить с руками, похожими на клешни варёного рака, с этими пятнами на лице. Если хочешь, у меня на этот счёт своя эстетика. Не думаю, чтобы и тебе было всё равно, каким тебя увидят потом...

– В смысле «потомки»?

– Потомки – понятие тёмное.

– Хочу, чтобы ты повiniлся передо мной.

Человек из портрета явно наглел. Так наглеют дети, ставшие независимыми, начинающие вспоминать, что их притесняли – в трудное время отдавали в сиротский дом, да и вернув к себе обходили их потом родительской лаской. Самое обидное в том, что всё это было правдой, хотя правдой несправедливой, правдой формальной. Сведение со мной счётов начинало меня обижать и сердить.

– Вيني того, кто тебя изображал.

– Она виновата перед своей кистью, а ты – и перед нею, и передо мной, ещё перед законами творчества. Ты помешал ей изобразить меня.

– Странная претензия!

– А всё-таки, припомни!

Вот так, подчиняясь его настойчивости, а точнее, назойливости, я стал припоминать забытое. Он предлагал мне уйти в новый сон и вернуться к той обстановке, какая была в мастерской. При этом сам он ушёл в портрет, который писали, а меня посадил на колченогий стул. Этот вторичный сон-припоминание

был вроде бы вольной цитатой из жизни, подкрашенной временем, и фантазмагорией сна.

...День тогда выдался солнечный. Из проёма окна шёл безудержный ливень света. Налагая мазки и проверяя их эффект, художница часто отходила к окну – её пышные волосы начинали светиться, всё её лицо оказывалось в ореоле красоты и женственности. Вот я переменял позу, и она с лукавой улыбкой погрозила мне кистью (помните, как она упрекала меня, что оказался рефлекторным, а потом стала читать мне мои стихи).

Она что-то во мне высматривала, поводя головой, голубые глаза её сужались, губы забормотали какое-то бессвязное заклятие. От этой ворожбы губ её и глаз голова моя начинала кружиться, а художница, становясь всё милее, отложила кисть и палитру.

– Перекур! – объявила она весело и вернулась к солнечному ливню.

Теперь она стояла спиной к свету, откинувшись и опершись о подоконник. Волосы её снова засветились, а лицо заалело лёгким румянцем. От горящих волос вспыхнула и стала изгорать на ней лёгкая одежда, заменяясь дымчатой фикцией, за которой почти зримо виделось сильное тело в подробностях женских форм. Вся она оказалась открытой, откровенно высвеченной для моих глаз – с косо поставленной грудью и прелестью крупного живота, и читала она то моё стихотворение, о котором я говорил вначале:

Переступить или вернуться?

Переступить или вернуться?

И решено – переступить!

Догадка озарила моё сознание: «Да ведь она сама зовёт меня к себе?» С чувством любви и благодарности я подошёл к ней и, наклонясь к губам, поцеловал; при этом моё бедро встретилось с её бедром. Она не изменила позы и не оторвала от меня своих губ. Странные вещи происходят во сне.

Глаза мои только что видели её раздетой, а руки уже скользили по тонкому шёлку платья. Видимо, я допустил какое-то неосторожное движение...

Её тело, ещё минуту назад чужое, стало понятно отзываться на каждый мой сумасбродный жест. Когда моя ладонь опустилась по желобку спины, тело её выломилось в повороте и вся она подалась ко мне с лёгкой готовностью...

Диво дивное происходит с человеком в минуту любви и близости с женщиной. Не знаю, хорошеет ли мужчина, но женщина становится удивительно красивой. Возможно, достаточно даже отражённой красоты, чтобы два человека стали враз красивыми, при этом нет ничего восхитительней зримой страсти в момент её возгорания, когда в слитности набирается головокружительная высота – до предела счастья.

Нет, нет, есть ещё нечто гипнотичнее.

Как ни странно, но это был момент, когда красота восторга исказилась обезображивающей гримасой. Губы, как обожжённые, покривились в напряжении с промельком оскала волчицы. Светло-золотистая голова её, как большой цветок на подломленном стебле, неожиданно упала мне на плечо...

Сон во сне оказался откровенней и подробней текста моей памяти. Переживая его, я не испытал первичности чувств, иначе бы совсем проснулся, но как актёр, лишь повторяющий игру, вернулся к прежней мизансцене. Человек из портрета, как свидетель моего розыгрыша, тоже только что возвратился из рамы и по-прежнему сидел напротив меня насупившись. «Наивный и непреклонный дурачок», – подумал я с завистью, уже зная, что огорчу его принижением искусства и поэзии. Я только ждал от него вопроса, и он не замедлил с ним.

– Ну и как? – спросил он, очевидно имея в виду ту мимолетную обезображивающую гримасу.

– Всё равно это прекрасно!

– Соблазны и должны быть прекрасными, на то они и соблазны! Ты так и не понял своей вины?

– Почему моей, а не её?

– Потому что, уступив тебе, она как бы перестала оставаться художницей. Ты виноват и перед нею, и передо мной, и перед искусством! Соблазняться предметом художества художникам так же противопоказано, как пьяным зачатие детей.

– О, куда ты пошёл!.. А знаешь: искусство вторично. В тебе сейчас говорит начинающий, идущий в поэзию, а не человек, обретший в ней некоторый опыт.

Вершина любви и поэзии находится не в самой поэзии, а в чём-то большем – в жизни. Ради торжества любви великий Есенин – надеюсь, ему ты как поэту веришь? – так вот, Есенин готов был поступиться поэзией:

Я б навеки забыл кабаки
И стихи бы писать забросил,
Только б тонкой касаться руки
И волос твоих цветом в осень.

– Всего лишь метафора! – воскликнул он.

– За эту метафору поэт заплатил жизнью... Не стихами, не искусством, а наивысшей ценой – жизнью!

Всё это я сказал резко, потому что назидательный тон человека из портрета начал меня раздражать. Мне казалось, что последними доводами наконец-то я поставлю его на место. И впрямь, в первое мгновение он растерялся, даже поднял свою прорисованную руку к нижней губе и начал её нервно выглаживать, потом резко поднялся, вроде бы с намерением уйти, и даже сделал шаг в направлении двери. Внутренне я уже торжествовал победу, когда он резко обернулся и сказал, как ударил:

– Если поэзия вторична, тогда в ней не будет подвижников! Изворот его мысли показался мне значительным.

– Остановись! Это серьёзно! Постой! – закричал я и потерял его.

Проснувшись, я ещё долго пребывал во власти увиденного. В комнате стоял утренний полумрак, и вставать не хотелось. Сознание отяжелела незаконченность сна и ночного сопереживания. Даже наяву последний довод человека из портрета представился мне серьёзным. «Он, пожалуй, прав, – думалось мне, – но я-то прав без сомнения.

А может быть, две правды просто-напросто должны существовать? Ведь как было в молодости? Помню, после завода я всё свободное время отдавал поэзии. Проходила неделя-другая, и я, взглянув на жалкие результаты труда, начинал себя спрашивать: «На что я трачу свою жизнь?.. Стоит ли всё это моего затворничества?» Дав отрицательный ответ, я срывался с места и уходил в «жизнь». Проходила неделя-другая, и снова я повторял вопрос: «На что же я трачу своё дорогое время?.. Разве всё, на что я потратил его, стоит одной строчки хороших стихов?» И снова, выходя из проходной завода, я отдавался стихам».

Не правда ли, смешная ситуация? Но как она потом отразилась на моём характере! Несмотря на то, что я уже давно-давно вплотную занимаюсь поэзией, всё же не вполне считаю себя профессиональным поэтом. Почти всё это время я на кого-то и на что-то оглядывался, будто ждал, что кто-то мне скажет: «Ну, хватит баловаться, пора и дело делать». Но до сих пор, а мне уже много, никто меня не окликнул, никто не отозвал на другое дело. Значит ли это, что я работал вполсилы? Наверно, не значит. Просто это была какая-то особая форма самоконтроля.

«Всё-таки не может истина остановиться на признании двух правд, – размышлял я, – должно же быть что-то, что объединило бы две правды моей жизни?» Без ответа на этот вопрос мне даже не хотелось подниматься с постели и встречаться с юнцом, который всё же одержал верх. «А-а, вот оно что! – подскочил я, – всё дело в уровне творца. – Ход моих мыслей оказался прост.

Да, жизнь первична, но поэт призван заниматься не её пустяками, а такими её явлениями, чтобы жизнь и поэзия встали в один качественный ряд. Тогда жизнь и поэзия станут равнозначны. Для этого-то и должен родиться подвижник!»

Войдя потом в большую комнату и поприветствовав жену, я посмотрел на портрет. Ночной спорщик сидел в нём по-прежнему независимо и глядел мимо меня, делая вид, что не являлся в моей комнате. Заметив мой взгляд, обращённый к портрету, жена заторопилась сообщить:

– Тебе звонил краснодеревщик, это насчёт рамы к портрету. Он ещё будет звонить...

– Ничего, побудет и в этой, – ответил я, строго посмотрев на себя молодого.

– Слишком уж он стал зазнаваться.